



Драматург Георгий Полонский, чьи пьесы долго не сходили со сцены, а фильмы — с экрана, сейчас (как и все мы) увлечен публицистикой. К нам в редакцию он принес кое-что из записей, которые ведет уже много лет, и самые последние заметки, сделанные по следам всех нас взволновавших событий. Автор предлагает, что дневниковый жанр нынче актуальнее больших законченных произведений. Нужна очень большая свобода, либо достаточная дистанция от времени, чтобы оно стало книгой, сценарием, пьесой...

Помните, что интеллигенция соль нации и, если ее не станет, вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили.

Николай ЭРДМАН.

Язык наждаку уподобляется, когда надо это слово сказать. Почти непроницаемым оно стало и почти непечатным. Большая часть прессы предпочитает этому слову брань. И даже «Правда», опуская долу свои искренние глаза, выговаривает его принужденно как-то и куда реже, чем раньше: «идеалы»...

Такая, право, оскомина, что лучше не трогать, не выговаривать. Оставить этот предмет Фиделю Кастро, Нине Андреевой, газете «Ижньминьжибао», Невзорову и Проханову. Или все-таки жалеть?

Что получается, ежели мы с этим словом не знакомы отныне? Содержимое сейфов и слов на Старой площади оскорбленно перекочевало при эвакуации в неподъемные сумки и в автомобильные багажники. Так, выходит, содержимое этого понятия — идеалы — они тоже забрали, чтоб на поругание демократам не отдать? Шутите! Не было там этого и в помине. Ищейка высшей квалификации не унюхала бы. С гораздо большей вероятностью в тех кабинетах мог обнаружиться языческий божок полудикого племени из Центральной Африки. Или, скажем, игрушка затейливая из секс-шопа, приобретенная где-нибудь в лондонском Сохо, в командировке, когда британских марксистов не было около. В это поверю, а насчет идеалов — извините: шаром покати!

А разве не исчезал для нас свет этой загадочной субстанции? Он делался чахоточным, он обращался в точку. Летом, вплоть до самых тех рубежных дней, демократическая пресса являла собой помесь меланхолии и глума. Из нее на глазах утекала надежда.

И вдруг... Покидая Москву в самом конце августа, Мстислав Ростропович извещает нас через «Комсомолку» голосом, срывающимся от счастья: «У НАС, МОЖЕТ, НЕТ ХЛЕБА, НО ЕСТЬ ТЕПЕРЬ ИДЕАЛЫ, которые мы должны передать своим детям».

Он, конечно, феноменален: делом ведь доказал решимость за эти самые идеалы умереть, за тем и прилетал. Причем в тот момент, когда могло ему казаться, что он будет лишь с горсточкой обреченных. Да и теперь кое-кто с ненавистью оповещает нас, что там были только хиппи, борзописцы, евреи и кооператоры. «И примкнувший к ним» Ростропович.

Ну что — ругаться ответно? Пусть лучше такие «мнения» канут в пустоту. Любопытнее суждение Нины Хрущевой, внучки незабвенного Никиты Сергеевича, оно прозвучало по радио «Свобода» и по смыслу было таким: новые демократы в отличие от шестидесятников сражаются не за идею как таковую, а за себя, за свой личный интерес, за свой реальный завтрашний день; это гораздо продуктивнее, чем бескорыстный идеализм тех лысеющих и седеющих интеллигентов, в котором был неизбежный коммунистический привкус.

В принципе — почти согласен. Однако, если бы могли обернуться на нас те «комиссары в пыльных шлемах», что сделались эмблемой поколения, у них сегодня оказались бы лица Платонова и Мандельштама, Сахарова и Ростроповича! Кроткий свет «абстрактного гуманизма» глянул бы из их глаз. Того «абстрактного», конкретнее и теплее которого

ничего не было и нет... даром, что ли, такую охоту на эти абстракции вели беспощадные егеря от идеологии? Позвольте, могут спросить, а при чем же тут «пыльные шлемы» со звездами? Совершенно справедливо, ни при чем, они — в музее да в песне, они — в трагической нашей истории. Уступить ли этот реквизит Егору Кузьмичу с Иваном Кузьмичом? Право, не знаю, не самый актуальный сегодня вопрос. Гораздо более содержательная символика — Ростропович, которому всучили автомат, чтобы запечатлеть «для истории», и который держит его очень недолго, неумело и брезгливо. Картинка к давнему диспуту о Добре и о кулаках. Итак, идеалы объявлены живыми, кровью отмытыми от лицемерия. Почему-то всегда именно этой жидкостью требуется их отмыть, очищать.

Много лет назад, посмотрев в Театре имени Моссовета вторую мою пьесу, Лев Аннинский одобительно написал: «У Полонского проза жизни ставит мат мечтательному идеализму». Одобрению я, понятное дело, порадовался, тем более что за первую пьесу тот же критик неслабо высек меня. А все же было что-то кислое, даже двусмысленное в той похвале: получалось, что я играю на стороне «прозы жизни», и что мы с ней выиграли ту партию.

Душа отчего-то лгнула к противнику! Будь я экономистом, хозяйственником, политиком — безоглядно торжествовал бы победу над идеализмом, над романтизмом, она означала бы, что здравый смысл и научный анализ взяли верх над фантомами. А в искусстве? Представьте: ваш мат мечтательному про-

тивнику лишает вас права на солидарность с возгласом поэта: «Но есть, есть Божий суд, наперсники разврат!» Или со словами Достоевского: «Блажен, кто имеет идеал красоты, хотя бы даже ошибочный», или с тем, что сейчас, в эту минуту, доносится из телевизора, завершая какую-то из передач: «Рвется душа на ту единственную, а, может быть, и невозможную «улицу Правды», которую мы ищем всю жизнь...» Немного подпорчено красотой, но ведь перефразирован финал «Покаяния», где Т. Абуладзе вопрошает устами полубезумной старухи: «Для чего же улица, если она не ведет к Храму?» Кстати, замученный деспотом художник в том фильме — идеалист чистой воды, высшей пробы... А мне стало быть с «прозой жизни» оставаться? Победили мы с ней?

Нет, то был шах, дорогой Лев Александрович, шах, а не мат! Навсегда (надеюсь, что навсегда) я прощался лишь с идеологическими шорами и враньем, во власти которых моих юных героев застало, как и меня, начало 50-х. И сочувствовал тем из них, в чьих душах голодным или принципиально ненасыщаемым оставался грустный тот идеализм.

Нашла бы медицина радикальное средство от грусти, от той самой, которая «est animi imperfectio», то есть «несовершенство души», — от искусства уцелели бы одни пляски, не правда ли? А такая грусть — синоним «мечтательного идеализма». Слава Богу, инъекции и таблетки антидепрессантов не лечат от этого недуга. А проза жизни еще усугубляет его, загоняет глубже. Почти ничего из этой прозы в пишу идеализму не годится, но он запрокидывает голову к небу, вслушивается в какую-то музыку, подбавляет себя полюболюбившимся строчками — чаще старыми, старинными, но изредка и свеженаписанными тоже! — и выживает как-то...

Почти два года назад женщина из Кустаная возблагодарила А. С. Пушкина как врача, как великого психотерапевта. Ее письмо сообщало, что она «отравилась» отрицательной информацией с телеэкрана, ей стало плохо физически. «Не помогла ни валерьянка, ни таблетки. И тогда Бог надоумил меня взять в руки «Евгения Онегина». Я читала и чувствовала, как тяжесть спадает с души». («Советская культура» от 10 октября 1989 года).

Не скажу, что именно этой «аптечкой» преимущественно пользовалось ЦТ для охраны зрительского здоровья, но заметили все: отрицательная информация подавалась в наши дома со щадящей дозировкой, с отвлекающими эффектами. Угроза отравления сохранялась, однако! Потому что дело не в том, чтобы хинин сопровождался патокой, а при этом телезрителю делали бы «козу», как младенцу. И при Кравченко Л. П., и без него та женщина уже не сможет не «отравляться», даже крепко держась за том Пушкина: она и ее семья, их бюджет и покой, их шансы на выживание зависят от политики так же прямо и жестко, как зависела в годы войны судьба миллионов от того, что скажет черная радиотарелка голосом Левитана.

До какой же степени важно, чтоб этот голос не врал!

Почти всегда политика напоминала навигацию с компасом, под который жюльерновский негодяй подложил топор. Подложил, чтобы компас не мог не врать. Способна ли политика демократов навсегда удалить этот топор от путеводных приборов? Или же и теперь за жюльерновского негодяя может сра-

ботать групповой эгоизм части общества, наплевавший на интересы большинства?

Светлых умов в политике всегда меньше, чем умов отводов (слово Герцена, в котором теперь то и дело нужда!); возможно, тем не менее, что умов хватило бы все же при условии, что совесть вправе подавать советы уму. Что ей не скажут: брысь под лавку! Я вовсе не намекаю, что у власти опять циники, я верю, что это не так. Но видно же: большое число разнонаправленных факторов давит на мозг политика одновременно, а интегральная или разрешающая способность любого мозга не беспредельна; и вот перегруженный и оттого сердитый на всех советчиков и пристававший политик гонит прочь самого кроткого из них. Между тем это ведь не очередной приставала — совесть. Она, конечно, «фу-фу», она — туманность или ничто, но у нее гениальная интуиция; если она не растренирована частым пребыванием «под лавкой», она-то и угадала бы то решение, которого не находит загнанный мозг и которое имеет много шансов — больше, чем любое другое! — совпасть с глубинным, истинным народным мнением.

Ах! чувствую: ничто не может нас Среди мирских печалей успокоить; Ничто, ничто... едина разве совесть. Этот вывод звучит у Пушкина не где-нибудь, а в Кремле.

«Радио России» рассказывает о забастовке учителей. Информация эта окантована музыкой из фильма «Доживем до понедельника». Через 23 го-

Георгий ПОЛОНСКИЙ

Вызов от

да окликает меня мое детище, сумевшее нашуметь и запомниться больше, чем другие прочие. Ну и как приятно должно быть драматургу? Секунды четыре — да, пожалуй. О чем говорится-то под эту мелодию? Когда в нашей ленте бастовали девятиклассники, — помню, как это естественное ЧП встревожило наших «отцов» из Госкино: «дурные примеры, знаете ли, заразные, не станет ли такой эпизод той неосторожной искрой, из которой...» ну и так далее. Тогда — не стал, насколько мне известно.

Зато теперь бастуют учителя! Учитель истории Мельников домогался в картине отпуска за свой счет: «А нельзя — так освобождайте совсем к чертовой матери!». Слишком образно (напрямую — нечего было и пробовать) объяснял он директору муку преподавания истории. О беспримерном терпении бумаги говорил, швыряя на стол учебник (впрочем, при переозвучивании уломали режиссера, чтобы вместо слова «учебник» вставил в уста В. Тихонову «диссертацию», то бишь свел бы проблему к частному случаю. Скучно вспоминать, не буду).

То был 1968 год. Год Пражской весны. Чувство кромешного позора в августе, в 20-х числах, когда мы танками приводили к «общему знаменателю» перестройку и демократизацию нетерпеливых наших братьев. А больше всего танки понадобились против гласности, вот где тайлос исчадие зла! Выглядывали из люков наши мальчики в шлемах, видели потемневшие, оскорбленные лица чехов, читали на стенах горчайшие, невероятной ценой оплаченные слова: «РУССКИЕ, МЫ ВАС ЛЮБИЛИ!».

А мы между тем «сдавали» в Госкино нашу скромную ленту о школе. Еще не успели зажечь свет после финального титра, как мрачный голос произнес: «Ну вот вам — среда, атмосфера и почва чехословацких событий!».

Амба, каюк, хана?

Нет. Шесть поправок только в фонограмме. «Шесть?!» — хватаюсь я за голову. — «Клянись и благодари, — настаивают меня. — Могло быть 66, могли вообще «зарезать». Спасибо, спасибо вам, чуткие, милые, либеральные наши цензоры, дозвоьте в плечико поцеловать, век буду Бога молить...»

Но окончательно судьбу картины решал Всесоюзный съезд учителей. На вердикт этой малолиберальной, хотя и близкой мне аудитории (я ведь сам из учителей!) повлияли, думаю, два фактора: а) женщины по уши влюбленные в Тихонова; б) мы с актрисой Ниной Меншиковой догадались, что сострадания, а не поношения заслуживает учительница литературы, во всей ее нестигаемой ортодоксальности, узости, обделенности... (То, как передана Н. Меншиковой эта женская обделенность, самому мне дороже всего иного в картине). Сработало и еще одно: наши поклонники из «Учительской газеты» интересовались мнением преимущественно молодых делегатов того съезда — и смогли опубликовать подборку этих мнений под «шапкой» — «Это НАШ фильм!» — и сие означало для нас викторию!

...какую-то и закрепила, не добавляя существенно новых эмоций, Государственная премия СССР 1970 года.

Мне потом давали понять: на дачах фильм полюбился внукам членов Политбюро. По крайней мере некоторым внукам некоторых членов. Внуки, внуки, почему так редко вам удается повлиять на дедушек в эту сторону? Почему в черном августе 68-го вы не умоляли, не колотили фарфоровых сервизов, не грозили удрать из дому? Впрочем, вы и в декабре 79-го не катались по коврам в истерике, да и с какой стати? Контингент войск посылали в Аф-

ганистан «ограниченный». Хотя бы в том смысле, что участие любимых внуков было абсолютно исключено!

◇

Диалог из блокнота первой половины 80-х годов; посмотрел я тогда свою пьесу «Репетитор» в одном городе и говорю режиссеру:

— Четыре сцены мне понравились, то есть не было стыдно, а это немало! Но герой... Послушайте, эта роль из тех, где скажи одно слово с неправильным, вульгарным ударением — и все насмарку! Как у профессора Хиггинса в «Пигмалионе»!

Режиссер: Это ему армия речь испортила. Я даже справочник ему приносил — такой, знаете, для дикторов на радио...

Я: Для дикторов! Так вот, чувствуется, что у него этот справочник забыт под кастрюлей с прокишими макаронами! И потом, ведь понятия же актер не имеет, из чего сделан его герой, из какого теста.

Режиссер: Да бросьте вы! Из слов он сделан у вас. Ему бы поступочков побольше, динамики.

Я: В следующей пьесе — обещаю! А в этой — он сделан из хрупкого, но твердого материала: из гордости, скрытности, из какого-то не зафиксированного еще таланта. Из максимализма, одиночества, из тонкой защитной иронии. Любимые его поэты — Лермонтов, Блок. Он интеллигент, — знает ваш актер, что это за фрукт такой?

Режиссер: Наслышан, конечно. Но, честно говоря, у нас он не произрастает уже... могли и подзабыть. У нас публика в душе согласна, когда героиня его фразером обзывает, интеллигента вашего.

ГЕНИЯ

Кстати, если б не девка эта, не ее жлобство и не ее любовь, — играли бы вам пьеску разве что в драмстудии при столичном Доме ученых... Для профессоров вдов!

Я: «Девкой» я и сам дорожу... Но без точного героя у них же «разности потенциалов» не будет, а значит, и всей истории!

Режиссер: Ну НЕГДЕ мне взять такого актера, хоть распишите! ЛЮДИ этих больше нет.

Тогда я заткнулся, не имея чем крыть. Сегодня дал бы совет, успевший сделаться банальным: разыскать тех, кто был на самом деле у стен Белого дома, особенно в ночь с 20-го на 21-е. Но это неисполнимо: кто только не был там! «Аристократы духа», таким образом, — все.

◇

Кто или что в ответе за качество лиц человеческих, за пустые полости в душах, отраженные в унылых или недобрых глазах? За мировоззренческую эклектику? За такой русский язык, который капитально поспорил бы Тургенев с русскими?

На это отвечают кратко: система. И задолго до нынешней этой отгадки, и теперь, когда она и трусливым доступна, мой ответ был и есть длиннее на одно слово: «...и школа». Хотя это все равно, что сказать: математика и алгебра, Индокитай и Кампучия. Когда за логическую ошибку упорно держатся, это неспроста: может быть, я тайно желал автономии для «школьной республики»?

Чем острее в ней ощущалось неблагополучие, тем важнее, казалось мне, понять, как живет и работает в школе лучшим, тем, кто не растворился в обстоятельствах. Ведь только их престиж можно еще поднять в глазах общества — благодаря тому, что они его не роняли.

Но и теперь школьный климат еще суров к ним, к тому личностному остатку, который они героически сохраняли под прессом мелочной и тотальной регламентации.

Раскрепостите учителя! — вот был один из первых императивов перестройки на этом фронте. Одаренные натуры, те, что в учительской не задержались надолго, покинули школу, — чего искали они, без чего задыхались? Очень возможно, что бормотали про себя: «Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег»... Что это за «чистые неги» такие, как их перевести на современный язык и зачем они творческому человеку сегодня?

Да это блаженство нерегламентированного времени и духа! Духа и времени, освобожденных для игры и для любви! Да, и нечего пугаться высоко взметенных бровей чиновников: школа без игры и без любви — это бурса, это почти каземат для детства, для ребенка и для подростка. Но и для творческого учителя это — холодный дом, бюрократический департамент. Я лишь сейчас о том, о чем говорил надоевший Сизифов камень этой проблемы надорвал силы Фриды Вигдоровой и Натальи Долининой, Александра Шарова и Николая Атарова: они хотели своротить этот поросший мхом камень, не дающий открыть школьную дверь для очистительных перемен. Не дожили, не своротили.

Грех, однако, все валить на чиновников; «перекрывать кислород» творческому учителю можно и не их руками. Внутри каждой школы с этой задачей вполне справляется сальеризм бескрылых педагогических душ, прямо-таки возненавидевших свободу: дискомфорт от нее! хаос! сквозняки! порнография! Только этой стороной повернута к ним перестройка, мучительная для них уже тем, что велит пере-

учиваться, что обнажает пустоту там, откуда свергнуты шаблоны и догмы.

Тот же человеческая драма... А что если написать на вывеске «Лицей», применить некоторый макияж, перетряхнуть словарный запас, а ничего существенного не трогать? Тем более, все так зыбко... может, еще и прямая команда будет: «существенного не трогать!»? Прискорбно распространенный способ жить, у детей он вызывает тошнотворное чувство, что ложью пропитано все: учебники, отметки, стены, телевидение. Когда мы схватимся за Пушкина, как за противоядие, как за руку всемогущего врача, — поверят ли они Пушкину? А вдруг выудят только две строчки, чтобы всех нас, взрослых людей, пригвоздить ими?

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Ударить бы в рельсу, чтобы призвать в школу цвет гуманистической интеллигенции именно теперь! Утопия? Но сверхважно, чтобы лучшие объяснили на своем уровне юношеству: все-таки резать не надо, ребята, резать нельзя. Ни очередными автоматными, ни саперной лопаткой, ни блатным бандитским «пером»! Это во-первых. Во-вторых, стадо у Пушкина — это все-таки метафора. Крутая, но метафора. А в-третьих, давайте же вникать с самого начала, с первой строки:

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды...

Просьба кислой мины не делать, а «Технику секса» убрать! Стихи короткие... короче нашей перестройки. Сеятель свободы, обратите внимание, почему-то всегда выходит рано. Или та самая звезда запаздывает. Как бы то ни было, выделен момент опережения. Неясно, правда, какой момент считать оптимальным, когда по-настоящему пора сеять свободу в России; этого, кажется, и национальный наш гений не знал...

Ну и так дальше, строка за строкой. Без вульгарного, упаси Боже, социализма. С пониманием, что гармония самих этих слов, в этом порядке поставленных, смягчает горечь исторического скепсиса и пессимизма. И вообще не надо пугаться этой горечи: в ней здоровая прививка против иллюзий. И закладка, необходимая в канун тех испытаний, что предстоит и нашим ребятам, и нам.

Скажите, что вам не по себе от такого их форсированного взросления? Мне тоже. Но это наше время распорядилось так, а «времена не выбирают». Зато нам в утешение дан бодрящий прогноз:

Пока в России Пушкин длится,

Метелям не задуть свечу.

Столь многое стоит или, вернее, мечется за этими метелями и этой свечой Давида Самойлова, так трудно сейчас дается эта улыбка самоуверенности, будто не Пушкина мы читаем на этом уроке, не светлого пушкинианца — современника своего, а что-нибудь из Альбера Камю — про экзистенциальное отчаяние человеческого удела, про стоицизм последнего выбора! Смотрят на нас наши мальчики и девочки и не дожидутся никак ответа на единственный вопрос: как жить-то будем? Романа «Чума» они не читали... но не хватает же духу порекомендовать им, 16-летним, вместо ответа — «Чуму»! А нам бы только достоинство удержать до звонка... мы повторяем, улыбаясь через силу: «Метелям не задуть свечу»...

И — знаете ли? — тут может выясниться, что они не согласны! С самим Пушкиным, если это про итог нашей перестройки и гласности:

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

Только не виноват он, не морочьте голову, это почти за 170 лет до нас сказано! Когда «накрылись» революции в Греции, в Испании... Очень переживал А. С. — и сорочка на целые народы «покатил бочку» за их пассивность! Феодализм же тогда был, абсолютизм... У нас человека можно было продать и купить, как щенка на Птичьем рынке! С чего вы взяли, что это нас, своих пра-пра-пра, Пушкин прикладывает?

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Эй, вы там, чего молчите? Вас оскорбляют, а вы, как и вправду, козлы... Как это — «вас не разбудит...»? Когда мы с десяти лет разбуженные! Это вы, шестидесятники, могли притомиться уже... Слешком вы подробно помните, как ваш Хрущев на поэтот ногами топал, на художников... Как ваш этот, с бровями, диссидентов гноил в психушках, Сахарова — в ссылке... Но это ваши страхи и ваша усталость — ну и отдыхайте, кто не дает? Тем более, сам Пушкин говорит: паситесь... Только это не к нам! Мы — не запуганные!

Ни о чем в жизни не мечтал так сильно, как о подобной их реакции на вызовы наших дней и Александра Сергеевича.

А потом эти вызовы еще и танками, и БТрами очертились. И реакция молодых, о которой я мечтал, но в которую верил слабенько, еле-еле, оказалась прямо-таки замечательной. По крайней мере — достаточной, чтобы динозавр тоталитаризма попятился, поджав хвост.

Нам внушают упорно: Белый дом собрал пенки, элиту, гуманитариев да программистов из СП, никакой это не народ: кроме того, по Москве вообще судить нельзя, Москва — еще не Россия, а вся глупинка понуро легла бы ничком перед ГКЧП, глубинка у нас еще абсолютно сырая и серая по части демократизма, враждебно недоверчивая к Москве.

Слушаю — и не спешу верить. Еще в начале лета выстывала моя машинка похожие строчки про молодежь — строчки, которые теперь остается только сжечь, причем — с удовольствием. Еще недавно пистерское ТВ показывало русских женщин, которые

январскую трагедию в Вильнюсе трактовали так: чевой-то понадобилось литовцам лезть в это пекло, ходить к этой телебашне, на ночь глядя, какое их дело, кто ее займет? «Вот мы бы дома сидели». Если б так по-заячьи рассуждали народы, осуществился бы ноздревский проект Жириновского насчет ста губерний России. Вот ужас-то: сто филиалов ГУЛАГа и над каждым — портрет сверхнагло-го недоучки в перекрестье прожекторов. И водка по 7 рублей: кого не дострашали, того напоили до потери сознания. Одно требуется от нас этим генерал-губернаторам: потеря сознания! Но в этом одном как раз и не будет им уступочки, не выйдет уже: Сахаров жил не зря, Солженицын писал не зря, Галич с Высоцким пели не зря. И так далее...

А «чести клич», даже если «разбудит», то не всю клавиатуру чувств охватывает разом, и у всех, положим, воля к свободе уже проснулась, а чувство благодарности еще очень квелое; а уважение к законности храпит пуше прежнего, чужое одеяло перетянув на себя!

В общем-то, естественная вещь: «Чести клич» еще только начал свою побудку. Не забудем, что среди «заспанных» чувств имеются у нашего общества и попросту недоразвитые чувства, никогда не востребованные в прежней, совковой жизни. Предпринимательская жилка, например, и чувство хозяйственной «самости». А, кроме того, некоторые чувства дремали в скрюченном, неестественном положении: они-то как раз были взрослыми, а их возвращали к статусу эмбриона! Таковы национальные чувства... Услыхали они «чести клич», покинули свое прокрустово ложе — и удивляться ли теперь, что вместо «С добрым утром!» мы слышим их агрессивный рык?

Да, до безобразия нестройно пробуждаются души восьмиклассника и старой учительницы, санктпетербуржца и жителя Кривошеина, что на Оби, завмага и инвалида, офицера, возвращенного из бывшей ГДР, и фирмача, отбывающего в ФРГ, скрипача в подземном переходе и протоиерея, пригласенного освящать аукцион. Не привыкли мы к таким диссонансам и перепадам, неуютна наша свобода. Оттого-то и длится до изнеможения утратившая смысл дискуссия — о сроках той «посевной кампании», что открывал «свободы сеятель пустынный»: пора не пора, опоздали на четверть века или, напротив, годков 10—15 еще следует г о д и т ь?

Во всяком случае я отклоняю рукопожатия в связи с тем, что опять в моем тексте «проза жизни ставит мат мечтательному идеализму». Уж какой антипознаний шли танки по Садовому — и чья взяла? Нет, еще не эндшпиль, знаю, еще важнейшие ходы предстоят.

Но самые лучшие, самые трезвые и деловые головы страны играют на той стороне, на мечтательной.

А сама мечта — она не гордая теперь, ни капельки не месснянская. Мечта избежать новых Окаянных дней. Вернуться к цивилизации.

